

**А. И. Куприн**

**Яма**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**А. И. Куприн**

Яма / А. И. Куприн – М.: Книга по Требованию, 2011. – 202 с.

**ISBN 978-5-458-03832-4**

Повесть «Яма» А.И.Куприн начал писать в 1909 году и завершил работу через шесть лет. Книга о жизни проституток вызвала скорее осуждение, чем сочувствие или понимание. Автора обвиняли в безнравственности и чрезмерном натурализме., Один из героев «Ямы» говорит: «...Наши художники слова – самые совестливые и самые искренние во всем мире художники – почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, мне трудно ответить на это. <...> Может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга».., Куприн сумел создать книгу, действительно потрясающую своей правдивостью, и посвятил ее матерям и юношеству.

**ISBN 978-5-458-03832-4**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Александр Иванович Куприн  
Яма

*Знаю, что многие найдут эту повесть безразвешенной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству.*

*А. К.*

# Часть первая

## I

Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики – казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называлась Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или, еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщицье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой на много лет – даже до сего времени – осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, драчливом и в ночную пору небезопасном.

Как-то само собою случилось, что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу XIX столетия обе улицы Ямы – Большая Ямская и Малая Ямская – оказались заняты сплошь, и по ту и по другую сторону, исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пяти-шести, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности ямской проституции.

Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех тридцати с лишком заведениях, разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а следовательно, и в некоторых внешних мелочах: в подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки.

Самое шикарное заведение – Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Теперешний владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым, выстроен в ложнорусском, ёрническом, ропетовском стиле, с коньками, резными наличниками, петухами и деревянными полотенцами, окаймленными деревянными же кружевами; ковер с белой дорожкой на лестнице; в передней чучело медведя, держащее в протянутых лапах деревянное блюдо для визитных карточек; в танцевальном зале паркет, на окнах малиновые шелковые тяжелые занавеси и тюль, вдоль стен белые с золотом стулья и зеркала в золоченых рамах; есть два кабинета с коврами, диванами и мягкими атласными пуфами; в спальнях голубые и розовые фонари, канаусовые одеяла и чистые подушки; обитательницы одеты в открытые бальные платья, опущенные мехом, или в дорожные маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбаков, гимназисток, и большинство из них – остзейские немки, – крупные, белотелые, грудастые красивые женщины. У Треппеля берут за визит три рубля, а за всю ночь – десять.

Три двухрублевых заведения – Софьи Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны – несколько поплоче, победнее. Остальные дома по Большой Ямской – рублевые; они еще хуже обставлены. А на Малой Ямской, которую посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники и вообще народ серый и где

берут за время пятьдесят копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно: пол в зале кривой, облупленный и занозистый, окна завешены красными кумачовыми кусками; спальни, точно стойла, разделены тонкими перегородками, не достающими до потолка, а на кроватях, сверх сбитых сенников, валяются скомканные кое-как, рваные, темные от времени, пятнистые простыни и дырявые байковые одеяла; воздух кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих извержений; женщины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в матросские костюмы, по большей части хриплы или гнусавы, с полупровалившими носами, с лицами, хранящими следы вчерашних побоев и царапин и наивно раскрашенными при помощи послушенной красной коробочки от папирос.

Круглый год, всякий вечер, – за исключением трех последних дней страстной недели и кануна благовещения, когда птица гнезда не вьет и стриженная девка косы не заплетает, – едва только на дворе стемнеет, зажигаются перед каждым домом, над шатровыми резными подъездами, висят красные фонари. На улице точно праздник запаха, все окна ярко освещены, веселая музыка скрипок и роялей доносится сквозь стекла, непрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах входные двери открыты настежь, и сквозь них видны с улицы: крутая лестница, и узкий коридор вверху, и белое сверканье многогранного рефлектора лампы, и зеленые стены сеней, расписанные швейцарскими пейзажами. До самого утра сотни и тысячи мужчин поднимаются и спускаются по этим лестницам. Здесь бывают все: полуразрушенные, слюнявые старцы, ищущие искусственных возбуждений, и мальчики – кадеты и гимназисты – почти дети; бородатые отцы семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодые, и влюбленные женихи, и почтенные профессора с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности – педагоги, и передовые писатели – авторы горячих, страстных статей о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые каторжники, и офицеры, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты; застенчивые и наглые, больные и здоровые, познающие впервые женщину, и старые развратники, истрепанные всеми видами порока; Ясноглазые красавцы и уроды, злобно исковерканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, отвислыми телами, с зловонным дыханием, плешивые, трясущиеся, покрытые паразитами – брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются веселыми, танцуют, выделявая гнусные телодвижения, имитирующие акт половой любви. Иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью выбирают любую женщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо платят вперед деньги и на публичной кровати, еще не остывшей от тела предшественника, совершают бесцельно самое великое и прекрасное из мировых таинств – таинство зарождения новой жизни, И женщины с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины, их желаниям, чтобы тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвертого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале.

Так проходит вся ночь. К рассвету Яма понемногу затихает, и светлое утро застает ее безлюдной, просторной, погруженной в сон, с накрепко закрытыми дверями, с глухими ставнями на окнах. А перед вечером женщины проснутся и

будут готовиться к следующей ночи.

И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семьей, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия, оберегательницы семейной чести четыреста глупых, ленивых, истеричных, бесплодных женщин.

## II

Два часа дня. Во второстепенном, двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с двумя десятками плюшевых стульев, чинно расставленных – вдоль стен, с олеографическими картинами Маковского «Боярский пир» и «Купанье», с хрустальной люстрой посередине – тоже спит и в тишине и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно-печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный, дым, носились, вихля бедрами и высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон и кипела до утра людьми и экипажами.

Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и оттого в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда.

Тускло поблескивает фортепиано своим черным, изогнутым, глянцевым боком, слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые, шерба-тые клавиши. Застоявшийся, неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах; пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядающей болотной травы. Сегодня троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами, толстую траву повсюду: в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажали лампы перед всеми образами. Девичи, по традиции, не смеют этого делать своими оскверненными за ночь руками.

А дворник украсил резной, в русском стиле, подъезд двумя срубленными березками. Так же и во всех домах около крылец, перил и дверей красуются снаружи белые тонкие стволы с жидкой умирающей зеленью.

Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только шесть временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно, сладко выпалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала, в десять часов, и с удовольствием помогла кухарке вымыть в кухне пол и столы. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивая цепь и храпя от удущья, то, весь волнуясь спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит

нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразня его мясом, кричит на него с притворной строгостью:

– Ну, ты, болван! Я т-тебе дам! Как смеешь?

Но она от души рада волнению и ласке Амура, и своей минутной власти над собакой, и тому, что выпалась и провела ночь без мужчины, и троице, по смутным воспоминаниям детства, и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть.

Все ночные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий, будничный час.

В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, – Анна Марковна. Ей лет под шестьдесят. Она очень мала ростом, но кругло-толста: ее можно себе представить, вообразив снизу вверх три мягких студенистых шара – большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков; это – ее юбка, торс и голова. Странно: глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно, мокрой нижней малиновой губой. Ее муж – Исай Саввич – тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый старичок. Он у жены под башмаком; был швейцаром в этом же. доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для заглушенных приказчиков, жаждущих пьяных слез.

Затем две экономки – старшая и младшая. Старшая Эмма Эдуардовна. Она – высокая, полная шатенка, лет сорока шести, с жирным зобом из трех подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей, от лба вниз, к щекам, и землистого цвета; глаза маленькие, черные; горбатый нос, строго подобранные губы; выражение лица спокойно-властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через два Анна Марковна, удалась на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть – в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет, бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем бои.

Другую – зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, лстыиво и фамильярно «экономочкой». Она худощава, верглява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической барашком; обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подбострастием.

Наконец пятое лицо – местный околоточный надзиратель Кербеш. Это атлетический человек; он лысоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и был грозой жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах.

У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что два года тому назад он женился на богатой семидесятилетней старухе, а в прошлом году задушил ее; однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные четверо тоже

видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому как старинные бретеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессий.

Пьют кофе с жирными топлеными сливками, околоточный – с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение.

– Так как же, Фома Фомич? – спрашивает искательно хозяйка. – Это же дело выведенного яйца не стоит... Ведь вам только слово сказать...

Кербеш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по нёбу маслянистую, острую, крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает не торопясь кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево.

– Подумайте сами, мадам Шойбес, – говорит он, глядя на стол, разводя руками и шурясь, – подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь! Девушка была обманным образом вовлечена в это... в как его... ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое... Наконец след находится у вас, и главное, – подумайте! – в моем околотке! Что я могу поделывать?

– Господин Кербеш, но ведь она же совершеннолетняя, – говорит хозяйка.

– Она совершеннолетняя, – подтверждает Исая Саввич. – Она дали расписку, что по доброй воле...

Эмма Эдуардовна произносит басом, с холодной уверенностью:

– Ей-богу, она здесь как за родную дочь.

– Да ведь я не об этом говорю, – досадливо морщится околоточный. – Вы вникните в мое положение... Ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься!

Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному ленивым, невыразительным блекло-голубым глазом:

– Господин Кербеш, я попрошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение.

– А-а! С удовольствием...

Через десять минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербеша хрустит в кармане новенькой сторублевой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околоточный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов:

– Вот у меня сын гимназист – Павел. Приходит, подлец, и заявляет: «Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский, и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов». Ну, скажите, ради бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?

– Ай-ай-ай!.. И какие тут взятки?.. Вот и у меня тоже...

– Я ему говорю: «Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». Что же вы думаете? Приходит и поверит: «Я тебе больше не сын, – ищи себе другого сына». Аргумент! Ну, и всыпал же я ему по первое число! Ого-го! Теперь со мной разговаривать не хочет. Ну, я ему еще покажу!

– Ах, и не рассказывайте, – вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю

малиновую губу и загуманив свои блеклые глаза. – Мы нашу Берточку, – она в гимназии Флейшера, – мы нарочно держим ее в городе, в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко. И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела.

– Ей-богу, Анночка вся покраснела, – подтверждает Исая Саввич.

– Покраснеешь! – горячо соглашается околоточный. Да, да, да, я вас понимаю. Но, боже мой, куда мы идем! Куда мы только идем? Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти революционеры и разные там студенты, или... как их там? И пусть пеняют на самих себя. Повсеместно разврат, нравственность падает, нет уважения к родителям, Расстреливать их надо.

– А вот у нас был третьего дня случай, – вмешивается суетливо Зося. – Пришел один гость, толстый человек...

– Не кандай, – строго обрывает ее на жаргоне публичных домов Эмма Эдуардовна, которая слушала околоточного, набожно кивая склоненной набок головой. – Вы бы лучше пошли распорядились завтраком для барышень.

– И ни на одного человека нельзя положиться, – продолжает ворчливо хозяйка. – Что ни прислуга, то стерва, обманщица. А девицы только и думают, что о своих любовниках. Чтобы только им свое удовольствие иметь. А о своих обязанностях и не думают.

Неловкое молчание. В дверь стучат. Тонкий женский голос говорит по ту сторону дверей:

– Экономочка! Примите деньги и пожалуйста мне марочки. Петя ушел.

Околоточный встает и оправляет шашку.

– Однако пора и на службу. Всего лучшего, Анна Марковна. Всего хорошего, Исая Саввич.

– Может, еще рюмочку, на дорожку? – тычется над столом подслеповатый Исая Саввич.

– Благодарю-с. Не могу. Укомплектован. Имею честь!..

– Спасибо вам за компанию. Заходите.

– Ваши гости-с. До свиданья.

Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно:

– А все-таки мой совет вам: вы эту девицу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый – предупреждаю-с.

Он уходит. Когда его шаги затихают на лестнице и хлопает за ним парадная дверь, Эмма Эдуардовна фыркает носом и говорит презрительно:

– Фараон! Хочет и здесь и там взять деньги...

Понемногу все расплззаются из комнаты. В доме темно. Сладко пахнет полуувядшей осокой. Тишина.

### III

До обеда, который подается в шесть часов вечера, время тянется бесконечно долго и нестерпимо однообразно. Да и вообще этот дневной промежуток – самый тяжелый и самый пустой в жизни дома. Он отдаленно похож по настроению на те вялые, пустые часы, которые переживаются в большие праздники п институтах и в других закрытых женских заведениях, когда подружки разъехались, когда много свободы и много безделья и целый день царит светлая, сладкая скука. В одних нижних юбках и в белых сорочках, с голыми руками, иногда босиком,

женщины бесцельно слоняются из комнаты в комнату, все немые, непричесанные, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепиано, лениво раскладывают гаданье на картах, лениво перебраниваются и с томительным раздражением ожидают вечера.

Любка после завтрака снесла Амуру остатки хлеба и обрезки ветчины, но собака скоро надоела ей. Вместе с Нюрой она купила барбарисовых конфет и подсолнухов, и обе стоят теперь за забором, отделяющим дом от улицы, грызут семечки, скорлупа от которых остается у них на подбородках и на груди, и равнодушно судачат обо всех, кто проходит по улице: о фонарщике, наливающим керосин в уличные фонари, о городовом с разносной книгой под мышкой, об экономке из чужого заведения, перебегающей через дорогу в мелочную лавочку...

Нюра – маленькая, лупоглазая, синеглазая девушка; у нее белые, льняные волосы, синие жилки на висках. В лице у нее есть что-то тупое и невинное, напоминающее белого пасхального сахарного ягненочка. Она жива, суетлива, любопытна, во все лезет, со всеми согласна, первая знает все новости, и если говорит, то говорит так много и так быстро, что у нее летят брызги изо рта и на красных губах вскипают пузыри, как у детей.

Напротив, из пивной, на минуту выскакивает курчавый, испитой, бельmistый парень, служащий, и бежит в соседний трактир.

– Прохор Иванович, а Прохор Иванович, – кричит Нюра, – не хотите ли, подсолнухами угощу?

– Заходите к нам в гости, – подхватывает Люба.

Нюра фыркает и добавляет сквозь давящий ее смех:

– На теплые ноги!

Но парадная дверь открывается, в ней показывается грозная и строгая фигура старшей экономки.

– Пфуй! Что это за безобразие? – кричит она начальственно. – Сколько раз вам повторять, что нельзя высказывать на улицу днем и еще – пфуй! ч– в одном белье. Не понимаю, как это у вас нет никакой совести. Порядочные девушки, которые сами себя уважают, не должны вести себя так публично. Кажется, слава богу, вы не в солдатском заведении, а в порядочном доме. Не на Малой Ямской.

Девушки возвращаются в дом, забираются на кухню и долго сидят там на табуретах, созерцая сердитую кухарку Прасковью, болтая ногами и молча грызя семечки.

В комнате у Маленькой Маньки, которую еще называют Манькой Скандалистой и Манькой Беленькой, собралось целое общество. Сидя на краю кровати, она и другая девица, Зоя, высокая, красивая девушка, с круглыми бровями, с серыми глазами навывкате, с самым типичным белым, добрым лицом русской проститутки, играют в карты, в «шестьдесят шесть». Ближайшая подруга Маньки Маленькой, Женя, лежит за их спинами на кровати навзничь, читает растрепанную книжку «Ожерелье королевы», сочинение и. Дюма, и курит. Во всем заведении она единственная любительница чтения и читает запоем и без разбора. Но, против ожидания, усиленное чтение романов с приключениями вовсе не сделало ее сентиментальной и не раскислило ее воображения. Более всего ей нравится в романах длинная, хитро задуманная и ловко распутанная интрига, великолепные поединки, перед которыми виконт развязывает банты у своих башмаков в знак того, что он не намерен отступить ни на шаг от своей

позиции, и после которых маркиз, проткнувши насквозь графа, извиняется, что сделал отверстие в его прекрасном новом камзоле; кошельки, наполненные золотом, небрежно разбрасываемые налево и направо главными героями, любовные приключения и остроты Генриха IV, – словом, весь этот пряный, в золоте и кружевах, героизм прошедших столетий французской истории. В обыденной жизни она, наоборот, трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла. По отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе-тиранствующей и обожаемой. Она – высокая, худая брюнетка, с прекрасными карими, горящими глазами, маленьким гордым ртом, усиками на верхней губе и со смуглым нездоровым румянцем на щеках.

Не выпуская изо рта папироски и шурясь от дыма, она то и дело переворачивает страницы намусленным пальцем. Ноги у нее до колен голые, огромные ступни самой вульгарной формы: ниже больших пальцев резко выдаются внауржу острые, некрасивые, неправильные желваки.

Здесь же, положив ногу на ногу, немного согнувшись с шитьем в руках, сидит Тамара, тихая, уютная, хорошенькая девушка, слегка рыжеватая, с тем темным и блестящим оттенком волос, который бывает у лисы зимою на хребте. Настоящее ее имя Гликерия, или Лукерия по-простонародному. Но уже давнишний обычай домов терпимости – заменять грубые имена Матрен, Агафий, Сиклитиний звучными, преимущественно экзотическими именами. Тамара когда-то была монахиней или, может быть, только послушницей в монастыре, и до сих пор в лице ее сохранилась бледная опухлость и пугливость, скромное и лукавое выражение, которое свойственно молодым монахиням. Она держится в доме особняком, ни с кем не дружит, никого не посвящает в свою прошлую жизнь. Но, должно быть, у нее, кроме монашества, было еще много приключений: что-то таинственное, молчаливое и преступное есть в ее неторопливом разговоре, в уклончивом взгляде ее густо- и темнозолотых глаз из-под длинных опущенных ресниц, в ее манерах, усмешках и интонациях скромной, но развратной святоши. Однажды вышел такой случай, что девицы чуть не с благоговейным ужасом услышали, что Тамара умеет бегло говорить по-французски и по-немецки. В ней есть какая-то внутренняя сдержанная сила. Несмотря на ее внешнюю кротость и стоворчивость, все в заведении относится к ней с почтением и осторожностью: и хозяйка, и подруги, и обе экономки, и даже швейцар, этот истинный султан дома терпимости, всеобщая гроза и герой.

– Прикрыла, – говорит Зоя и поворачивает козырь, лежавший под колодой, рубашкой кверху. – Выхожу с сорока, хожу с туза пик, пожалуйста, Манечка, десяточку. Кончила. Пятьдесят семь, одиннадцать, шестьдесят восемь. Сколько у тебя?

– Тридцать, – говорит Манька обиженным голосом, надувая губы, – ну да, тебе хорошо, ты все ходы помнишь. Сдавай... Ну, так что же дальше, Тamarочка? – обращается она к подруге. – Ты говори, я слушаю.

Зоя стасовывает старые, черные, замаслившиеся карты и дает Мане снять, потом сдает, поплевав предварительно на пальцы.

Тамара в это время рассказывает Мане тихим голосом, не отрываясь от шитья.

– Вышивали мы гладью, золотом, на престольники, воздухи, архиерейские облачения... травками, цветами, крестиками. Зимой сидишь, бывало, у окна, –